



ВЕК:
ПОЭТ И ВРЕМЯ

АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Стихотворения
и поэмы



БИБЛИОТЕКА



ВЕК:
ПОЭТ И ВРЕМЯ

ВЫПУСК

15





АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Стихотворения

Москва
«Молодая гвардия»
1991

ББК 84Р7
В 64

Составитель
И. Винокурова

Автор вступительной статьи
К. Кедров

Гравюры
Т. Толстой

Оформление серии
Е. Ененко

В $\frac{4702010202-137}{078(02)-91}$ 165—91

ISBN 5-235-01479-0

- © Вознесенский А. А., 1991 г.
- © Винокурова И. Е., составление, 1991 г.

«Параболой гневно пробив потолок», ворвался Андрей Вознесенский в затхлый мир постсталинской литературы. Молчало все живое. Старые поэты еще не обрели второе дыхание после сталинской ночи. Имя Вознесенского прошло живительным ознобом по оконченому телу русской поэзии. Его ругали за формализм, футуризм, штукачество, абстрактный гуманизм, «кривлянье», космополитизм, оторванность от народа, низкопоклонство перед Западом и даже, что уже совсем смешно, за «перепеванье» Маяковского.

Впрочем, ругать Вознесенского было довольно трудно. Критика, привыкшая к моральным сентенциям и гражданским официозным лозунгам в поэзии, просто не умела говорить о метафоре. Поначалу прицепились к восклицанию «Я — Гойя!», обвиняя молодого поэта в нескромности. Никто даже не заметил, что возглас читается почти одинаково справа налево и слева направо, что в нем потаенный смысл от слова «из-гой», но сделали все возможное, чтобы поэт ощущал себя таким изгоем.

Новые репрессии против искусства еще не начались, вернее — еще не кончились старые. Критики, застоявшиеся после XX съезда из-за отсутствия ра-

зоблачительных кампаний, с ликованием бросились на живое слово. Имена трех поэтов: Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулиной — не сходили с полос. Но град официальных ругательств только пробуждал интерес к их поэзии.

Два сборника Андрея Вознесенского — «Мозаика» и «Парабола» — вышли почти одновременно. «Мозаика», безжалостно искореженная цензурой, «Парабола» почти целехонькая. Это дало возможность выступить в защиту поэта. Андрей Синявский опубликовал статью в «Новом мире», где в результате тщательного сличения текстов «Параболы» и «Мозаики» нетрудно было поймать за руку свирепствующую цензуру. Само слово «цензура» было запрещено, но читатель все понял. Оба сборника сразу стали библиографической редкостью.

Затаив дыхание мы, молодые поэты, ждали: что будет дальше. А дальше была война... Война неосталинизма с литературой. «Господин Вознесенский!» — кричал Хрущев с трибуны на поэта, осмелившегося противопоставить ленинизм сталинизму. Это был эзопов язык эпохи, и Хрущев прекрасно понял, что хотел сказать поэт. Поняли и миллионы читателей. Весь мир облетел снимок: кулак главы государства над головой поэта.

Справедливости ради следует сказать, что расвирепешивший премьер вовремя остановил свой замах. Обрушить кулак на голову значило уже стать Брежневым, а Хрущев все-таки был Хрущевым.

Политика Брежнева была намного хитрее. Устроив устрашающий показательный процесс над Синявским и Даниэлем, выслав тогда еще малоизвестного Иосифа Бродского, он не решался на прямые репрессии против

поэтов с мировым именем. Вознесенского уже знала Америка.

Сборник «Треугольная груша» и сегодня выглядит неслыханно дерзким. Такого музыкального взрыва, такой энергетике рок-н-ролла, такого открытия Америки поэзия просто не знала раньше. Не знает и сейчас.

Ре-
вет музыка скандальная,
тру-
ба пляшет, как питон...

Это не только дух свободы, а сама ее плоть.

Нельзя сказать, что читатель к тому времени ослеп и оглох — он был оглушен дикой идеологической и политической вакханалией неосталинизма. И все-таки название сборника стало как бы пословицей. Треугольная груша — знак и символ поэзии второй половины XX века, как «Квадрат» Малевича — знак и символ живописи начала столетия.

«Кто ты? Бред кибернетический, полуробот, полудух?» — Первый вопрос поэта, обращенный к НЛО, первое стихотворение об этом в «Треугольной груше». Как заклинание повторяются и сегодня:

Завораживая, манежа,
свищет женщина по манежу.
Мчит торпедой горизонтальною,
хризантему заткнув за талию,—

какая-то мощная жизненная сила в этих словах. Молитвенная скороговорка московских святых юриди-

вых. Не случайно же поэма Вознесенского о соборе Василия Блаженного в самом начале пронзила самых жестоковыхных.

Взглянув на главы-шлемы,
боярин рек:
— У, шельмы,
в бараний рог!

Я помню, как реакционнейший критик «боярин» Валерий Друзин оправдывался на ученом совете Литературного института за похвальный отзыв об этой поэме: «Я же не знал, что он пойдет не по тому пути». «Не тот путь» был дорогой к небу:

Стонет в аквариумном стекле
небо,
приваренное к земле.

И в более поздние годы, как символ веры, ставший уже поговоркой: «Небом единым жив человек!»

Хитрейшее правительство Брежнева имело свой план удушения поэзии, своего рода казнь: «формула умолчания». Чтобы упомянуть Вознесенского, нужно было специальное разрешение вплоть до идеологического отдела ЦК. Каждое издание выглядело как политическая акция, знак кому-то: вот, мол, что у нас есть. Литературу наводнили имена «поэтов», якобы идущих на смену Вознесенскому, Ахмадулиной, Евтушенко. Большею частью это были бойкие графоманы, примитивные имитаторы. Их дисциплинированные вирши с аккуратными строчками и дохлыми рифмами на конце вечно опадающей строки увенчивались ре-

гулярными премиями и шумными критическими кампаниями. Интерес к «поэзии» падал.

Но официальный миф об упадке интереса к поэзии рушился после каждого выхода сборника Вознесенского. Сами названия их вопиюще не вязались с привычной застойной символикой. Еще бы, ведь это была чистейшей воды поэзия: «Ахиллесово сердце», «Витражных дел мастер», «Дубовый лист виолончельный».

2515

поэтов наших федераций
пускай напишут за меня,
они не знают деградации,—

с горечью воскликнул поэт. Цифра не выдумана, взята из справочника Союза писателей. И все же обмануть читателей удалось, особенно молодых: где-то там какие-то поэты пишут какие-то труднодоступные стихи, а мы здесь, внизу, им до нас нет дела. Примерно такой миф вкладывался в умы молодежи. Заумная-де поэзия, далекая от ваших проблем. Многие и сейчас так думают.

Никто не знает, зачем и кому нужна поэзия. Шубы (дубленки) из нее действительно не сошьешь.

«Но музыку нельзя руками», нельзя. Но задушевные уши вообще перестали воспринимать музыку.

Леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку унесли...

Дух музыки покинул Россию. Только еще вечно за-
таенное «скрытымным», не то стон, не то вздох над
ее заснеженными... хотел сказать — просторами, да
нет уже никаких просторов... пустырями. И все же —

Есть лирика великая —
кириллица!
Как крик у Шостаковича — «три лилии!» —
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса —
кириллица!

Все знают имя Вознесенского, но поэзию его пой-
мут позже, когда наступит час тишины: «Тишины хо-
чу, тишины. Нервы, что ли, обожжены...»

Однажды в начале 60-х годов я видел живого цен-
зора. Пришел к нему «залитовать» (так это тогда назы-
валось) очередную главу из книги И. Эренбурга «Люди.
Годы. Жизнь». Цензор оказался ворчливым и на ред-
кость словоохотливым. Запретить Эренбурга он не
мог — не было велено, поэтому неохотно, со вздохами,
с бабьими причитаниями ставил он печати на каждой
странице, как тогда полагалось, и вдруг замер: увидел
чьи-то стихи, не то Цветаевой, не то Мандельштама.
И запричитал: «Все эти Вознесенские, Крестовоздви-
женские; вот где они у меня сидят», — и указал на
свою жирную шею фиолетовым штемпелем.

Он все правильно понял, не зря сидел на этом от-
ветственном месте. Конечно же, после Цветаевой,
Пастернака, Мандельштама должен быть Вознесенский.
Так и ушел я из тесной комнатенки под эти завыва-
ния, унося под мышкой гранки книги Эренбурга, обе-
зображенные фиолетовыми синяками с надписью
«разрешаю».

Этот фиолетовый штамп виден на каждом сборнике, вышедшем в 70-е годы. Дело здесь не в соотношении разрешенного и запрещенного. Дело в самой возможности, в узурпированном чиновниками праве запрещать или разрешать поэзию.

Пусти, красавчик Квазимодо,
душа болит, кровотока,
от пристальных очей свободы,
от нежных взоров стукача.

Одному Богу известно, как удалось напечатать эти строки в те годы. Сказано же: «невозможное человеку возможно Богу», — а «поэзия есть Бог в святых мечтах земли».

«Поэт в России больше, чем поэт» — вот досадное поэтическое заблуждение Евгения Евтушенко. Больше поэзии ничего не бывает. А если думать, что есть что-то большее, то зачем писать?

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

«Ностальгия по настоящему» — еще одна пословица. Вот ведь, сложный поэт, а сколько крылатых фраз вошло с ним в культуру.

Все прогрессы реакционны,
если рушится человек...

Ведь это то самое, о чем так натужно и длинно пытаются говорить наши перестроечные публицисты, пережевывая в километровых статьях неудобоваримый «человеческий фактор» и «приоритет общественного над»... нечеловеческим, что ли?

Пляшет дача на ней,
как батыев помост —

это же надгробие целого поколения. Неистовые партийные оргии — все это на костях молодежи 60-х, 70-х, 80-х годов.

Андрей Вознесенский еще и тем неприемлем для графоманов, что ему, как и раннему Маяковскому, невозможно подражать. Сразу видно убожество подражателя. Этого нельзя сказать о традиционной поэтике, где подражатели с легкостью воспроизводят структуру, выстраивают свою лепнину вокруг чего-то им недоступного. Пристроиться к Вознесенскому — все равно что возвести дворец на Везувии. Содрогнется одной строчкой, полыхнет одной метафорой — и ничего не останется, кроме лавы.

Строго говоря, у Вознесенского нет метафоры. То, что называлось метафорой до Хлебникова, перестало быть ею после¹. Вознесенский же после Хлебникова, его метафора — метаметафора (метафора в квадрате). Вознесенский после всех иллюзий социальных переустройств, после радужных утопических феерий Хлебникова и Циолковского.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках —

¹ М е т а — значит «после».

водружая на себя дачу, гараж, земной шар и весь космос, человек все равно остается голым и уязвимым: «один на один со вселенной».

Его экзистенциальное сартровское одиночество любит толкучки, стадионы, парижские барахолки, шумные зрелища, и все же:

продай меня, Марше О Пюс,
архаичным становлюсь:
устарел, как Робот-6,
когда Робот-8 есть.

Эти слова написаны на самом рассвете славы, когда на горизонте не было даже тени соперника, но соперничать можно даже со своей собственной тенью. В любом поэтическом турнире самый достойный и главный соперник — ты сам. Кто устал от постоянного единоборства с собой, тот уже не поэт, а какой-нибудь депутат от поэзии.

Музу Вознесенского постоянно тиранит «Чингисхан — замдиректора Сингичанц». Я даже не знаю, кто эта или этот «Сингичанц», тренирующий в каком-то стихотворении, но тренер отличный. Вознесенский всегда в должной поэтической форме. Поэтому ему не прощают малейшей слабости, требуя от поэта рекордов, только рекордов. Критик жадно ждет, на что бы такое наброситься. Но что удивительно: сколько ни цитировали из «неудачного», никто этого не помнит, зато каждый год обнаруживается яркость ранее не приметных строк:

Мы — продукты ядерных распадов,
за отцов продувшихся расплата,—

это ведь не после Чернобыля сказано, а за тридцать пять лет до этого в «Треугольной груше».

Там груши — треугольные,
ищу в них души
голые.

Я плод трапецевидный
беру не чтоб
глотать —
чтоб стекла сердцевинки
сияли, как алтарь!

Библейский плод запретного дерева дозрел в XX веке до треугольной лампы нью-йоркской подземки. Поэт сорвал его, но не для съедения, а для познания. Треугольная груша его поэзии для обывателя несъедобна, а он ведь только и смотрит — нельзя ли съесть. Смысл поэзии всегда возвышен и аскетичен, даже если в каждой строчке бушует оргия.

Веранда-мастерская, где работает Андрей Вознесенский, похожа на корабельную каюту. Разумеется, там нет никакой особенной мебели и прочих атрибутов мещанского счастья, но есть эстампы Раушенберга и то, что Вознесенский назвал забавным словом «видухи» — иероглифы звука и смысла, где слово Россия, припорошенное снегом, превращается в латинской транскрипции в слово поэзия:

россия
poesia

Многие до сих пор не могут простить поэту его мировой известности: того, что он, как дома, во многих странах; того, что Америка назвала его однажды самым любимым своим поэтом. Это при всей-то сложности его стихов! Это при том, что Америка стихов вообще не читает. Надолго ли хватает отблеска этой радости после возвращения домой?

Еще в молодости поэт сказал:

Как бы нас ни корили,
но Россия одна,
как подводные крылья,
направляешь меня.

Дежурный патриотизм, который ныне стал пропуском в Союз писателей для многих молодых литераторов, абсолютно чужд Вознесенскому. Но только он мог сказать такое: «Мы — Кижы. Я киж, а ты кижиха». Им унаследовано от Пастернака тождество поэзии и России. Его Кижы — поэзия XX века.

Меня всегда поражал лицемерно-снисходительный тон так называемой «либеральной» критики, когда она высказывалась о Вознесенском. В годы Брежнева это было выгодно для карьеры: и не обругал, и сохранил на лице гримасу пренебрежения.

Когда началась гласность, с интересом ждал, что же теперь скажут о Вознесенском наши генерал-либералы.

Ничего не сказали. Потому что сказать им нечего. Поэзия их никогда не интересовала. Я же с наслаждением читал и перечитывал новые, еще более сложные стихи:

Тапа говорю я на
пизм ты говоришь кому —

как это весело перепорхнуть от конца строки к началу, вычитав имя Наташа из «таша» и «на». Без таких вещей жиреют мозги, и писание стихов превращается в некую выгодную профессию. Похоже, что в поэзию возвращается родное юродивое и скоморошьё, делающее невозможным чугунный литой памятник. Зато порхающий в небе Поэтарх, играющий в азбуки всех народов, мысленно уже возведен над Москвой поэтом. Хотя сама поэзия Вознесенского есть такой Поэтарх, летящий... хотел сказать «над» и понял, что надо сказать не «над», а в «нас».

Константин КЕДРОВ

Стихотворения



ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе
обычно — во мраке и реже — по радуге.

Жил огненно-рыжий художник Гоген,
богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,
он

дал
кругаля через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,
кудахтанье жен и дерьмо академий.
Он преодолел

тяготенья земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче,
не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревущей
сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
параболой

гневно
пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
червяк — через щель, человек — по параболе.



Жила-была девочка, рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.
Куда ж я уехал!

И черт меня нес
меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу,

приземляясь по ним —
земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
несутся искусство,

любовь

и история —
по параболической траектории!
В Сибирь уезжает он нынешней ночью.

.
А может быть, все же прямая — короче?

1958

ОСЕНЬ

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живет
и мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадет щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
поймет осенний зов полей,
полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
и на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959

АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин,
в кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
над ним горят

Антимиры!

И в них магический, как демон,
вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик,
и щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
оазисов — без Каракумов.

Нет женщин — есть антимужчины,
в лесах ревут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.
На шее главного из них,
благоуханна и гола,
сияет антиголова!..



* * *

Я сослан в себя
я — Михайловское
горят мои сосны смыкаются

в лице моем мутном как зеркало
смеркаются лоси и пергалы

природа в реке и во мне
и где-то еще — извне

три красные солнца горят
три рощи как стекла дрожат

три женщины брезжут в одной
как матрешки — одна в другой

одна меня любит смеется
другая в ней птицей бьется

а третья — та в уголок
забилась как уголек

она меня не простит
она еще отомстит

мне светит ее лицо
как со dna колодца —
кольцо

1961



ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —

Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «Ура».

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.

Я вас — люблю!

Чему смеетесь? над чем всплакнете?
и что черкнете, косясь, в блокнотик?
что с вами, синий свитерок?
в глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,
но это будут не вы —
другие.

Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить не долго. Суть не в овалциях.
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь
со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —
моя Россия! —
ты очень бережен и добр, как бог,
лишь Маяковского не уберег.

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины!..
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

 чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины..
Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
 молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
чай, опять кулуарный авралец?
Горлопаны, не наорались?
Тишины...

Мы в другое погружены:
в ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

1963

ПАРИЖ БЕЗ РИФМ

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»
И вдруг —

город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали
прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму
чайника,

и так же, сохраняя форму водопроводной
трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской богоматери шла месса,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки
почему-то парил над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов,
как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,

мир паутинок, антенн и оголенных
проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная,
как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью.
Париж,

в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж — горящая вода,

Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущенно
обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую,
как шарики
ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,

шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли,

монахиню смущали мохнатые мужские
видения,
президент мужского клуба страшился
разоблачений
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),

над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
задумчив, как кузнецик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств
мудрый дух

бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном,
орушем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш гляссе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963

НОЧЬ

Сколько звезд!
Как микробов
в воздухе...

1963

ИЗ «ОЗЫ»

Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядерный.
Не выдерживаю соперничества,
будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья!
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имярек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное — человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от техсловес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времен:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпугали, как тарантас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла,—
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и не важно, в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник.
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?» Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...
Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!

1964



ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЕННЫМ ПОЭМАМ

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.

На черной Вселенной любовниками
отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.
Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!
Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались в Останкине,
в с т а н ь т е!

Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии,—
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.

Раскройте, гробы,
как складные ножи гиганта,

вы встаньте,—

Сервантес, Борис Леонидович, Данте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.

И вы, Член Президиума Верховного Совета

товарищ Гамзатов,

встаньте,

погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно, чем речь

на торжественной дате,

встаньте.

Их гибель — судилище. Мы — арестанты.

Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто и прямо,
встань, мама.

Вы встаньте в Сибири,

в Париже, в глухих городишках,

встаньте,

мы столько убили

в себе,

не родивши,

встаньте,

Ландау, погибший в бухом лаборанте,

встаньте,

Коперник, погибший в Ландау галантном,

встаньте,

вы, блядь из джаз-банды, вы помните школьные банты?

Встаньте,

геройские мальчики вышли в герои, но в анти,

встаньте

(я не о кастратах — о самоубийцах,

кто саморастратил святые крупички),

встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной панике —
«Вечная память!»

Министр, вы мечтали, чтоб юнгой в Атлантике плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный Гамлет?
Вечная память,
где принц ваш, бабуся? А девственность
можно хоть в рамку обрамить,
вечная память,
зеленые замыслы, встаньте как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
Вечная память!..

Аминь.

Минута молчания. Минута — как годы.
Себя промолчали — все ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить.
Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь потраву,—
Вечная слава!
Вечная слава!

1965

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что сомкнулись за нами сейчас.
Мы слушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит,
а дальше — пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

1967

* * *

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заноеет — спасу нет!

Я думаю, что бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно мы молчим.
Как минимум — сдохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

солёные, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не сберег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны —

застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха —
быть органом стыда.

1967

ВРЕМЯ НА РЕМОНТЕ

Как архангельша времен
на часах над Воронцовской
баба вывела: «Ремонт»,
и спустилась за перцовкой.

Верьте тете Моте —
время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсбондили.
В твисте и нервозности
женщины — вне возраста.
Время на ремонте.

Снова клеши в моде.
Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках,
в самых смелых «мини» —
только в челочках.

Мама на «Раймонде».
Время на ремонте.

Реставрационщик
потрошит да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте,
гаечки довинчивают.

«Я полагаю, что пара вертолетов
значительно изменила бы ход Аустерлицкого сражения.

Полагаю также, что наступил момент
произвести

девальвацию минуты.

Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда
соответственно количество часов в сутках
увеличится, возрастет производительность
труда, а в оставшееся время мы сможем
петь...»

Время остановилось.

Время 00 — как надпись на дверях.

**ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНЬЕ, НЕ СЛИШКОМ ЛИ
ТЫ ПОДЗАТЯНУЛОСЬ?**

Которые все едят и едят,

вся жизнь которых — как затянувшийся

обеденный перерыв,

которые едят в счет 1995 года,

вам говорю я:

«Вы временны».

Канторские и конвейерные,
чья жизнь — изнурительный
производственный ритм,

вам говорю я:

«Временно это».

Которая шьет-шьет, а нитка все не кончается,
которые замерли в 30 м от финиша

со скоростью 270 км/ никогда,

вам говорю я:

«Увы, и вы временны...»

«До-до-до-до-до-до-до» — он уже продолбил клавишу,
так что клавиша стала похожа на домино «пусто-один» —
«до-до-до»...

Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты подзатынулось?

Помогите Время
сдвинуть с мертвой точки.
Канты, Марксы, Ленины,
все — второисточники.

Не на семи рубинах
циферблат Истории —
на живых, любимых,
ломкие которые.

Может, рядом, около,
у подружки ветреной
что-то больно екнуло,
а на ней все вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг не разожметя?
Если человеческое —
значит, приживется.

И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтщиков
вышвырнет в ремонт!

1967

НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки»,— друг мой дробит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысьсь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг,
хорош костюм, да не по росту,
внутри все ясно и вокруг —
но не поется.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967



БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Г. Дж.

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если я, положим, янычар,
не свои ль сжигаем алтари?
Где чужие — можем различать,
но не понимаешь, где свои.

Вырванные груди волоча,
остолбенева от любви,
мама, отшатнись от палача.

Мама! У него глаза — твои.

1968

* * *

Сколько свинцового
яда влитó,
сколько чугунных
лжей...
Мое лицо
никак не выжмет
штангу
ушей...

1968

* * *

Суздальская Богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати...

Невмоготу понимать все.

1968



5 А. Вознесенский

ОБЩИЙ ПЛЯЖ № 2

По министрам, по актерам
желтой пяткою своей
солнце жарит полотером
по паркету из людей!

Пляж, пляж —
хоть стоймя, но все же ляжь.

Ноги, прелести творенья,
этажами — как поленья.
Уплотненность, как в аду.
Мир в трехтысячном году.

Карты, руки, клочья кожи,
как же я тебя найду?
В середине зонт, похожий
на подводную звезду,—
8 спин, ног 8 пар.
Упоительный поп-арт!

Пляж, пляж,
где работают лежа,
а филонят стоя,
где маскируются, раздеваясь,
где за 10 коп. ты можешь увидеть будущее —
«От горизонта одного — к горизонту
многих...»

«Извиняюсь, вы не видели мою ногу?
Размер 37... Обменяли...»

«Как же, вот сейчас видела —
в облачках она витала.
Пара крылышков на ей,
как подвязочки!
Только уточняю: номер 38 ¹/₂...»

Горизонты растворялись
между небом и водой,
облаками, островами,
между камнем и рукой.

На матрасе — пять подружек,
лицами одна к одной,
как пять пальцев в босоножке
перетянуты тесьмой.

Пляж и полдень — продолжение
той божественной ступни.
Пошевеливает Время
величавою ногой.

Я люблю уйти в сиянье,
где границы никакой.
Море — полусостоянье
между небом и землей,
между водами и сушей,
между многими и мной;
между вымыслом и сущим,
между телом и душой.

Как в насыщенном растворе,
что-то вот произойдет:
суша, растворяясь в море,
переходит в небосвод.

* * *

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь,— скажу,— или Россия
назад не отпусти!»

1970

СКРЫТЫМНЫМ

«Скрытымным» — это пляшут омичи?
скрип темниц? или крик о помощи?
или у Судьбы есть псевдоним,
темная ухмылочка — скрытымным?

Скрытымным — то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-ыы...» — с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрытымным.

Скрытымным — языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
но часто не учитываем скрытымным.

«Как вы поживаете?» — «Скрытымным...»
«Скрытымным!» — «Слушаюсь. Выполним».

Скрытымным — это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводем.
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.
Где ее могила? — скрытымным...

А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрытымным!»
Но не забывайте — рухнул Рим,
не понав приветствия: «Скрытымным».

1970



* * *

Да здравствуют прогулки в полвторого,
проселочная лунная дорога,
седые и сухие от мороза
розы черные коровьего навоза!

1970

ПЕСНЯ АКЫНА

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, господь, второго,—
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денек —
пошли мне, господь, второго,—
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружен.
Пошли ему, бог, второго —
такого, как я и он.

1971

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира
коленипреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси.
отпетый.
Ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлете,



орет за тридевять земель:
«Володя!»
Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери — большой,
золотенький,
под ним для мальчика — меньшей...)
Володя!..
За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодией,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

А в Смилифосовке филиал
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.

Ввернули серые твои,
как в новоселье.
Сказали: «Топай. Чти ГАИ.
Пой веселее».

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры,
Козыри — крести.
Высоцкий воскрес.
Воистину воскрес!

1971

* * *

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылез из спален
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой ада,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спую, не вина:
«Пусть я удобренье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

1971

* * *

Память — это волки в поле,
убегают, бросив взгляд,—
как пловцы в безумном кроле,
озираются назад!

1972

ОБСТАНОВКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времен борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам, VI век.
Феофан Грек.
Стол. «Кент».
На столе ответ на анкету:
Предпочитаю «Беломор» «Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
все, чего нет
(след. перечисление ед).

Гень бабушки — салфетка узорная,
вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рёниш».
Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(Бьет). Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.
Ой, как развалено...
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
+14 созданий
с площади Испании.
Уголок забытых вещей!
№ 2-й,
№ 3-й,
№ 8-й — никто не признается чей!
А вот жена брошка.
И платье брошено...
наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, черен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности Гость,
к несчастью, принимал за трость.)

Вот ванная.

Что-то странное!

Свет под дверью. Заперто изнутри.

Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!

Вот так всегда.

Слышите, переливается на пол вода.

(Стучит.) Нет ответа

(От страшной догадки он делается

неузнаваем.)

О нет, только не это!..

Ломаем!

Она ведь вчера говорила —

«Если не придешь домой...»

Милая! Что ты натворила!

(Дверь высаживают.)

Боже мой!..

Никого. Только зеркало запотелое.

Перелитая ванна полна пустой глубины.

Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:

«А зачем мне вытираться,

вылетая в вентиляцию?!»

1972

* * *

Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад —
недочитанные, как книга,—
разметавшись, любовники спят.

1972

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волшебба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волшба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

1972



* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом назначении
девяносто процентов добра.

Деваносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне, несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

1972

В НЕПОГОДУ

З. Б.

В дождь как из Ветхого завета
мы с удивительным детиной
плечом толкали из кювета
забуксовавшую машину.
В нем русское благообразие
шло к византийской ипостаси.
В лицо машина била грязью
за то, что он ее вытаскивал.
Из-под подфарника пунцового
брандспойтово хлестала жижа.
Ну и колеса пробуксовывали,
казалось, что не хватит жизни!
Всего не помню, был незряч я
от этой грязи молодецкой.
Хозяин дачи близлежащей
нам чинно вынес полотенца.
Спаситель отмывался, терся,
отщучивался, балагурия.
И неумелая шоферша
была лиха и белокура.
Нас высадили у заставы,
на перекрестке мокрых улиц.
Я влево уходил, он вправо.
Дороги наши разминулись.

1972

* * *

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

1973

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венки Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свернутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

1973

НТР

Моя бабушка — староверка,
но она —
научно-техническая революционерка.
Кормит гормонами кабана.

Научно-технические коровы
следят за Харламовым и Петровым,
и, прикрываясь ночным покровом,
сексуал-революционерка Сударкина,
в сердце,
 как в трусики-безразмерки,
умещающая пол-Краснодара,
подрывает основы
семьи,
 частной собственности
 и государства.

Научно-технические обмены
отменны.
Посылаем Терпсихору —
получаем «Пепси-колу».

И все-таки это есть Революция —
в умах, в быту и в народах целых.
К двенадцати стрелки часов крадутся —
но мы носим кварцевые, без стрелок!



7 А. Вознесенский

Я — попутчик
научно-технической революции.
При всем уважении к коромыслам
хочу, чтобы в самой дыре завалюющей
был водопровод
и свобода мысли.

За это я стану на горло песне,
устану —
товарищи подержат за горло.
Но певчее горло с дыхательным вместе —
живу, не дыша от счастья и горя.

Скажу, вырываясь из тисков стишка,
тем горлом, которым дышу и пою:
«Да здравствует Научно-техническая,
перерастающая в Духовную!»

Революция в опасности! Нужны меры.
Она саботажникам не по нутру.
Научно-технические контрреволюционеры
не едят синтетическую икру.

1973

* * *

Я не ведаю в женщине той
черной речи и чуингама,
та возлюбленная со мной
разговаривала жемчугами.

Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А ее уязвленная брань —
доказательство чувства.

1973

ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

*1. Завещаю тела моего не по-
гребать до тех пор, пока не по-
кажутся явные признаки раз-
ложения. Упоминаю об этом
потому, что уже во время са-
мой болезни находили на меня
минуты жизненного онемения,
сердце и пульс переставали
биться...*

Н. В. Г о г о л ь. «Завещание»

I

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя,—
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны в России,
поминают, когда мы мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

II

«Поднимите мне веки, соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматы.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!

Под Уфой затекает спина,
под Рязанью мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Я запретный растил для вас плод,
плоть живую я скрещивал с тленьем.
Помоги мне подняться, Господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

III

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки Господние
Перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Трое выпили на могиле.
Любят похороны у нас,
как вы любите слушать рассказ,
как вы Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

1973

МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не умею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

1973

ПОРНОГРАФИЯ ДУХА

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории,
в искусстве силен, как стряпуха,
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему все не ясно,
Стравинский — безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших ее.
Когда мой собрат по панели,
стыжусь за него самое.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах
свою порнографию духа.



Напишут чужою рукою
статейку за милого друга,
но подпись его под статью
висит порнографией духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим — это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,
венерам закутайте брюхо.
Но все-таки дух — это главное.
Долой порнографию духа!

1974

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974

ХОР НИМФ

Я 41-я на Плисецкую,
26-я на пледы чешские,
30-я на Таганку,
35-я на Ваганьково,
кто на Мадонну — запись на Морвокзале,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
Кто был девятая, станет десятой,
Борисова станет Мусатовой,
я 16-я к главному,
75-я на Глазунова,
110-я на аборт
(придет очередь — подработаю),
26-я на фестивали,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
47-я на автодетали
(меня родили — и записали),
я уже 1000-я на автомобили
(меня записали — потом родили),
что дают? кому давать?
А еще мать!
Я 45-я за 35-ми,
а Вы с ребенком, чего тут плятись?
Кто на Мадонну — отметка в 10-ть.
А Вы с ребенком — и не надейтесь!
Не вы, а я — 1-я на среду,
а Вы — первая куда следует...
(Продолжение следует)

1974

* * *

Дорогие литсобратья!
Как я счастлив оттого,
что среди общей благодати
меня кроют одного.

Как овечка черной шерсти,
я не зря живу свой век —
оттеняю совершенство
безукоризненных коллег.

1975



НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто хочет послушник к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколлет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975

* * *

Мы обручились временем с тобой,
не кольцами, а электрочасами.
Мне страшно, что минуты исчезают.
Они согреты милою рукой.

1975

РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...
И — больше ничего.

1975

* * *

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь —
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.



Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

1975

ВОЙНА

С иными мирами связывая,
глядят глазами отцов
дети —
широкоглазые
перископы мертвецов.

1975

СМЕРТЬ ШУКШИНА

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила Москва мужика
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел и простился.

Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко курил он чинарик,
так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал
край как дом — где березы и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.

1975

ХОББИ СВЕТА

Я сплю на чужих кроватях,
сидю на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи,—
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают как ветряки.
Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашел тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.

Да будет свет в Тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки как тамариск,
да будет свет
в малиновых Твоих подфарниках,
когда Ты в сумерках притормозишь.

Но тут мое хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!
За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60% из химикалиев,
на 40% из лжи и ржи...
На 1% из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут мое хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
перед витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжет мои легкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

1975

* * *

Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленная дверьми!

1976

ШКОЛЬНИК

Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием профиль
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира —
повезло тебе, крестник! —
обломившись, со сцены вцепилась
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало
от такого события!
Ты кусок неразгаданной стали
взял губами, забывшись.

«Как люблю вас, Борис Леонидович! —
думал ты, — повезло мне родиться.
Моя жизнь передачей больничною,
может, вам пригодится...»

Распрямись, мое детство согбенное.
Детство. Самозабвенья.
И пророческая рапира.
И такая Россия!..

Через год пролетал он над нами
в белом гробе на фоне небес,
будто в лодке — откинутый навзничь,
взявший весла на грудь — гребец.

Это было не погребенье.
Была воля небесная скул.
Был над родиной выдох гребельный —
он по ней слишком сильно вздохнул.

1960, 1977

КНИЖНЫЙ БУМ

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что черный том ее агатовый
куда дороже, чем агат.

Кто некогда ее лягнули —
как к отпущению грехов —
стоят в почетном карауле
за томиком ее стихов.

«Прибавьте тиражи журналам», —
мы молимся книгобогам,
прибавьте тиражи желаньям
и журавлям!

Все реже в небесах бензинных
услышишь журавлиный зов.
Все монолитней в магазинах
сплошной Массивий Муравлев.

Страна поэтами богата,
но должен инженер копить
в размере месячной зарплаты,
чтобы Ахматову купить.

Страною заново открыты
те, кто писали «для элит».
Есть всенародная элита.
Она за книгами стоит.

Страна желает первородства.
И, может, в этом добрый знак —
Ахматова не продается,
не продается Пастернак.

1977

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.



И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977

* * *

Почему два великих поэта,
проповедники вечной любви,
не мигают, как два пистолета?
Рифмы дружат, а люди — увы...

Почему два великих народа
холодеют на грани войны,
под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны — увы...

Две страны, две ладони тяжелые,
предназначенные любви,
охватившие в ужасе голову
черт-те что натворившей Земли!

1977

* * *

Я год не виделся с тобою.
Такое же все — и другое.

Волнение и все другое
такое же — и все другое.

Расспросов карие укоры —
такое же — и все другое.

Лицо у зеркала умою —
такое же — и все другое.

Окно, покрашенное мною,
такое же — и все другое.

Прогонят стадо к водопою
такое же — и все другое.

Ночное небо, как при Ное,
такое же — и все иное.

Ты — жизнь! Приблизись — окажешься
ты неожиданно такая же.

1977

Назовите по имени веру женскую,
независимую пустыницу —
Антонину Сергеевну Вознесенскую,
урожденную Пастушихину.

1978

БЕЗОТЧЕТНОЕ

Изменяйте дьяволу, изменяйте черту,
но не изменяйте чувству безотчетному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.

Женщина замешана в нем темноочевая,
ты — мое отечество безотчетное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчетное, это безотчетное,

осень ли настояна на лесной рябине,
женщины ль постукают четками грибными,

иль перо обронит птица неученая —
как письмо в отечестве безотчетное...

Шинами обуется, мантией почетною —
только не обучитесь безотчетному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчетное.

Это безотчетное, безотчетное
над рискованной пропастью вам пройти
нашептывает...

Когда черти с хохотом
вас подвешат за ноги,
«Что еще вам хочется?» — спросят вас под
занавес.

— Дайте света белого,
дайте хлеба черного
и еще отечество безотчетное!

1979



ИЗ ПОЭМЫ «АНДРЕЙ ПОЛИСАДОВ»

Как Россия ела! Семга розовела,
луковые стрелы, студень оробелый,

красная мадера в рюмке запотела,
в центре бычье тело корочкой хрустело,—

как Россия ела! — крабов каравеллы,
смена семь тарелок — все в один присест,

угорь из-под Ревеля — берегитесь, Ева! —
Ева змея съела, яблочком заела,

а кругом сардели на фарфоре рдели,
узкие форели в масле еле-еле,

страстны, как свирели, царские форели,
стейк — для кавалеров, рыбка — для невест,

мясо в центре пира, а кругом гарниры —
платья и мундиры, перси и ланиты,

СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — придет после девяти.
Судьба, обереги его в пути.

1979

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ПЛОХО»

- Кому жить плохо на Руси?
- Спроси!

- Колхозник, как надои кукурузы?
- Колхозник: «Соловьи в ей свищут, как Карузы».

- Бабуся, а к тебе судьба добра ли?
- Бабуся: «Спасибо, что козу не отобрали».

- Рабочий, с НТР условия легче стали?
- Рабочий: «Легче выносить микродетали».

- Красотки, как мужик при полноте достатка?
- Красотки: «Хорош, как к телевизору приставка».

- Писатели, что в вашем околотке?
- Писатели: «Грызем друг другу глотки».

- Телятницы, а как приплод телятины?
- Телятницы: «Зато поем талантливо!»

- А вы, солисты ГАБТ и телерадио?
- Солисты: «Чистим на субботнике телятники».

- Профессор, как культура нрава?
- Профессор: «Хиляем, нахалюги, на халяву».

— Христос, а ты доволен ли судьбою?
Христос: «С гвоздями перебои».

— Россия, что еще народу хочется?
РОССИЯ: «Когда же это кончится?..»

1980

СИНИЙ ЖУРНАЛ

В. Быкову

Цвет новомировский,
с отсветом в хмарь —
неба нормированный
почтарь!

В ящик проглянет
неба прищур
этих без глянца
синих брошюр.

Метростарушка,
в лифте чудак
небом наружу
станут читать.

Не изменили
не отцвели,
цвет новомировский,—
читатели!

Цвет новомировский,
авторов цвет...
Жизни актированы.
Многих уж нет.

Все по России
носит почтарь

порции синего
с отсветом в хмарь.

Интеллигенция
встанет моя,
зябнув коленцами
после спанья.

Синей обложкой
внутри завернет,
будто из неба
сложив бутерброд.

В спешке кухонной
станем с тобой
пищей духовной,
пищей богов.

1980

ЯБЛОКОПАД

Я посетил художника после кончины
вместе с попутной местной чертовкой.
Комнаты были пустынные, как рамы,
что без картины.
Но из одной доносился Чайковский.

Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой в афроприческе,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

Женщина в кресле сидела за дверью.
40 портретов ее окружали.
Мысль, что предшествовала творенью,
сделала знак, чтобы мы не мешали.

Как напряженна работа натурщицы!
Мольберты трудились над ней на треногах.
Я узнавал в их все новых конструкциях
характер мятущийся и одинокий —

то гвоздь, то три глаза, то штык трофейный,
как он любил ее в это время!
Не находила удовлетворенья
мысль, что предшествовала творенью.



Над батареею отопленья
крутился Чайковский, трактуемый Геной
Рождественским. Шар умолял его в небо
выпустить. В небе гроза набрякла.
Туча пахла, как мешок с яблоками.

Это уже ощущалось всеми:
будто проветривали помещенье —
мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, предшествующая творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мыслью о море стояла аллея.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления.
Мысль о яблоке катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да», — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.

Гения возраст — в том, что он гений.
Верила, стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!
Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны
антоновских яблонь. Как мысль о создателе,
осень стояла. Дом конопатили.

Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского,
по старой памяти, над парниками.
Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.
«Все оправдалось, мэтр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых
гневым затмением лысого шара,
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомненья —
мысль о бессмысленности творенья.

Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, мэтр модерновый!

Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на Бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — гребни лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.
Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.

Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.
Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.

Из снежных яблок так во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
тебя представил я гостьей якобы.
Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Стояла яблонная спасительница,
моя стеснительная сенсация.
Среди диванов глаза просили:
«Сенца бы!».
Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платьеце,
что, забывшись, влюбишься, сбросишь
рубашку
и как шары по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетел. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на одиночестве колких дерюжищ?
И проносилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь».

Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,
что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двурушничал с тобой, время,
даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за то, что дошли до ручки,
даже за это стихотворенье,
даже за то, что завтра задуеть,—
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!
За гениальность твоих натурщиц,
за безымянность твоей идеи...

И повторяли уже в сновиденье:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки выли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.

1981

СОН

Я шел вдоль берега Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устины,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба от глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету...»

1983

ИПАТЬЕВСКАЯ БАЛЛАДА

Морганатическую фрамугу
выломал я из оконного круга,
чем сохранил ее дни.
Дом ликвидировали без звука.
Боже, царя храни!

Этот скрипичный ключ деревянный,
свет законный, узор обманный,
видели те, кто расстрелян, в упор.
Смой фонограмму, фата моргана!
У мальчугана заспанный взор...
— Дети! Как формула дома Романовых?
— НСИ!

Боже, храни народ бывшей России!
Хлорные ливни нам отомстили.
Фрамуга впечаталась в серых зрачках
мальчика с вещей гемофилией.
Не остановишь кровь посейчас.

Морганатическую фрамугу
вставлю в окошко моей лачуги
и окаянные дни протяну
под этим взглядом, расширенным мукой
неба с впечатанною фрамугой.
Боже, храни страну.

Да, но какая разлита разлука
в формуле кислоты!
И утираешь тряпкою ты
дали округи в раме фрамуги
И вопрошающий взор высоты.

* * *

таша говорю я на
низм ты говоришь кому
ыкант наливает муз
иноактриса пошла к
сотка улыбнулась кра
вать советует уби
лам сломалась жизнь попо

Швейцар тебя учит совести,
и некуда тебе пожаловаться —
бездомны «Московские новости»,
затопленные пожарными.

Пока мы в домах с этажерками
и не стряслось неизбежное,
беженцам хоть рубль пожертвуйте!
Пока мы сами не беженцы.



ДЕФИЦИТ

В магазин зашел: «Алло!
Дайте неба полкило».
Продавцов сказали двое:
— С небом перебои.
Нету черного, ночного,
белого нет, облачного,
ни розового, ни голубого,
ни серого — ну, никакого.
Нету неба бородинского!..

— Тоже мне — князь Андрей.
— Гражданин, не надо диспутов.
Не толпитесь у дверей.

— Дома глазки голубые
ждут, чтоб неба им добыли.
Если неба не давать,—
они будут затухать.
Отпусти, небена мать!..

Продавщица ответила: «Сочувствую.
Вместо хлеба вам насущного
по талону за июль
отпущу один буль-буль.
Отпустить смогу вам смога.
Но немного».

— Мне хотя бы без изюма
и без звезд.
Я ее люблю безумно!
Разрешите стану в хвост.

— Ваши бы заботы мне бы.
В мировой голубизне
строить общество без неба
нелегко в одной стране.
В Марксе нет социализма.
Вода кончилась в воде.
Бензина самоубийце
нету Неба нет нигде.
Если будут все, как ты,
будут небные бунты.
А авоська — как кроссворд.
Угадай, из чего торт?

— Нашенским без неба — финиш.
Даже в тюрьме
пайки синенькие видишь
четвертушками в окне.
Мне хотя бы ломтик надо,
чтобы глазки зацвели.
Мне сказали, из Канады
тонну неба завезли.

Продавец сказал любезно:
— Страна наша безнебесна.
Где работаешь, дебил?
Сам ты небо задымил.

Человек ушел без неба
в безнебесные места.
На мосту слепые требуют:
— Подайте неба ради Христа.

И Большой театр без Феба

подтверждает: НЕТУ.

А. МЕНЬ

1

Кто поднял топор на священника?
Кто шел за ним в раннюю стынь?
И как найти в сердце прощение
тому, что сейчас творим?
Кто поднял топор на священника,
тот проклял себя. Аминь.

Неужто страна в деградации
болеет так тяжело,
когда не до святотатства —
до святотопорства дошло?!

Красивый. Сердца ежечасно
смягчал. Темны времена.
Убитый домой стучался.
Его не узнала жена.
Накрыла его безучастная
сусальная простыня.

С его позвонками шейными
диспут провел топор.
Страна, убивая священников,
пишет себе приговор.

Они беззащитной аортой
с Тарковским были близки,
пятьсот пятьдесят четвертой
школы ученики.

Мы вместе учились в чертогах
пятьсот пятьдесят четвертой.
На панихиде твоей
от имени нашей школы
зажгу тебе свечку скорбную,
опальный протоиерей.

Приход посреди России.
Афганцы, Маковок синь.
И девушка вслед литургии
вздохнула: «А. Мень... Аминь...»

А в небе кровавым довеском
над утренней нашей тропой
с космической достоверностью
предсказанный Достоевским,
как спутник, летит топор.

2

Прокатилось до Армении от московских деревень:
Мень,мень,мень...

И афганцы парашютные шепчут исповедь с колен,
автоматами прошитые, точно в дырочках ремень:
«Мень,мень,мень...»

Отвечает эхо: «Мень —
нем».

*Новая Деревня
Храм Сретенья
10.IX.90*

РАСПЯТИЕ

1

В минуту сегодняшней скверны —
не плоскость с двухмерных холстов —
явился мне многомерный
Христос.
Шли муки, подобно мосту,
перпендикулярно кресту.

Распинали Его не в одной плоскости, тело Его было раздираемо во все стороны, как стрелки указателя на перекрестке дорог или тесовая крестовина, в которую вставляют рождественскую елку, так Его видели с неба.

И мук этих веерный вектор
сменил плоскостное бревно,
на Юг, Восток, Запад и Север
растягивали Его.

Мужчины, и бабы, и леди,
сменяющаяся толпа,
второе тысячелетье
мы тянем Его на себя.

И, как медицинские банки
иль тянет рогатку дитя,
вытягивались лопатки.
Мы тянем Его на себя.

Тянули Его вертолеты,
крюком за губу зацепя,
суда, уходящие в море,
тянули Его на себя,
и рокер в пылице желторотый,
и баба, от мужа уйдя.

Ступни Его вдовы доили,
впивалась в раскаянье бля,
тянула ладонь экстрасенса,
покойники в автомобиле
тянули Его на себя.

Будучи в состоянии шока, я не понимал смысла виденного, да и вряд ли запомнил все, мне было дано увидеть Его с точки зрения неба, но почему именно сейчас?

Когда распятие отвернулось от меня темным силуэтом, я увидел за ним толпу, вернее, лишь глаза, тыщи глаз, глядящих в упор, и в каждом зрачке впечаталось по маленькому эмалевому крестику вверх ногами, каждый дважды распинал Его в собственных зрачках, тысячи маленьких Спасителей глядели на меня.

2

И крест, разогнувшийся тайно
из молота и серпа,
голодной страны испытанья,
прервав Иоганна Себа-
стиана, гудят окаянно
бастующие таксисты
товарищу отпеванье.
И крови ждут ястреба.
Толпа, депутаты, путаны,
все тянут Его на себя.

Кто любит — сильнее тянули,
кто продал — тянули вдвойне,

тянули, кто в жизни тонули,
тянул, кто давно на дне.

Но главное — втягивал вакуум
души, что покинула нас,
чья тайна забыта за кваканьем.
Как тянет сейчас!

И вытянутое сердце,
где вздутые жил провода,
как третья ладонь разжималась,
просила гвоздя.
Терновые новые ветки
Ты ставила, кровь соскребя.
Шипы двадцать первого века
тянули Его на себя.

3

«Прощаю, садисты невольные! —
я слышал. — Печаль утоли.
Страшней направление боли,
которое изнутри».

Не на деревяшках же Его распинали! — Поперечники болевой энергии. Бруски беспредела. Растяжение истории. Художники никогда не изображали распятие в профиль, иначе бы им пришлось давать поперечное сечение, где

ребра, как новые руки,
стояли креста поперек,
указывающие муки
не понятых нами дорог.

Летя над Ерусалимом,
я видел, что смертным нельзя,
над бьющимся компасом боли,
что видят лишь небеса.

Там ангел и клин журавлиный
кричат и отводят глаза.

Тащило бревно населенье,
как будто тараня бревно,
любя, мазохистски зверя,
к страданьям иных измерений,
что людям познать не дано.

Дальше не помню, не стирайте память, разум не отнимите!

Меж толпами злых идиотов
я видел себя самого,
что натягивал на стадионы
перепонки ушные Его.

Ужель меж писательских профи
я был на Голгофе в бистро
потягивать черный свой кофе
из чашек коленных Его?!

«Прости,— повторяю над пропастью,—
незрячие годы мои,
что видел
в одной только плоскости
безмерные муки Твои».

КНИГИ АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО

1. 40 отступлений из поэмы «Треугольная груша». М., «Сов. писатель», 1962.
2. Антимирь. М., «Мол. гвардия», 1964.
3. Дубовый лист виолончельный. М., «Худ. лит.», 1975.
4. Витражных дел мастер. М., «Мол. гвардия», 1976.
5. Собрание сочинений в 3-х томах. М., «Худ. лит.», 1983.
6. Ров. М., «Сов. писатель», 1987.
7. Аксиома самоиска. М., ИКПА, 1990.

ЛИТЕРАТУРА О ТВОРЧЕСТВЕ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО

1. А с е е в Н. Как быть с Вознесенским? — «Лит. газета», 1962, 4 августа.
2. Л о т м а н Ю. Лекции по структуральной поэтике. Тарту, 1964.
3. О г н е в В. У карты поэзии. М., 1968.
4. М и х а й л о в А. Андрей Вознесенский. Этюды. М., «Худ. лит.», 1970.
5. Е в т у ш е н к о Е в г. Чтобы голос обрести — надо крупно расстаться.— «Новый мир», 1970.
6. Д е м е н т ь е в В. Высокое напряжение.— «Лит. газета», 1972.
7. Ш к л о в с к и й В. По поводу нового сборника Андрея Вознесенского.— «Лит. обозрение», 1973.
8. С о л о у х и н В. Любитель поэзии сердится...— «Лит. газета», 1974, 15 мая.
9. Б о к о в В. Чудо поэзии.— «Юность», 1975.

10. Марченко А. Взгляд-74.— «Вопросы литературы», 1975.
11. Слуцкий Б. Верность двадцатому столетию.— «Юность», 1976.
12. Чупринин С. Логика аллогизма.— «Лит. обозрение», 1976.
13. Винокурова И. Цвет времени.— «Октябрь», 1977, № 7.
14. Залещук В. Художник ищет красоту.— «Лит. Россия», 1977.
15. Квятковский А. По лезвию смысла? — «Октябрь», 1977.
16. Урбан А. Андрей Вознесенский.— «Юность», 1977.
17. Лесневский С. Портрет Вознесенского.— «Смена», 1978.
18. Барлас В. Метафоры Вознесенского.— «Новый мир», 1980.
19. Артур Миллер. Предисловие к книге «Ностальгия по настоящему». Нью-Йорк, 1980.
20. Мориц Ю. Ностальгия по настоящему.— «Мелодия», 1983.
21. Дементьев А. Поэт времени.— «Лит. газета», 1985.
22. Кедров К. О книге «Ров».— «Новый мир», 1988.
23. Тимофеев Л. Феномен Вознесенского.— «Новый мир», 1989, № 2.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэтарх Вознесенского. <i>К. Кедров</i>	5
---	---

Стихотворения

Гойя	18
Параболическая баллада	20
Осень	23
Первое вступление к поэме «Треугольная груша»	25
Антимиры	27
«Я сослан в себя...»	30
Прощание с Политехническим	32
«Я — семья...»	35
Тишины!	36
Автопортрет	38
Париж без рифм	39
Ночь	44
Из «Озы»	45
Плач по двум нерожденным поэмам	48
Замерли	51
Тоска	52
«Нам, как аппендицит...»	53
Время на ремонте	56
Не пишется	59
Братская помощь	62
«Сколько свинцового яда влитб...»	63
«Суздальская Богоматерь...»	64
Общий пляж № 2	66
«Когда я придаю бумаге...»	69
Скрытымным	70

«Да здравствуют прогулки в полвторого...»	72
Песня акына	73
Правила поведения за столом	75
Реквием оптимистический	76
«Ну что тебе надо еще от меня?...»	80
«Память — это волки в поле...»	82
Обстановочка	83
«Не придумано истинней мига...»	86
Заповедь	87
В человеческом организме	90
В непогоду	91
«Стихи не пишутся — случаются...»	92
Васильки Шагала	93
НТР	96
«Я не ведаю в женщине той...»	99
Похороны Гоголя Николая Васильевича	100
Муравей	103
Порнография духа	104
«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...»	107
Хор нимф	109
«Дорогие литсобратья!..»	110
Ностальгия по настоящему	112
«Мы обручились временем с тобой...»	114
Романс	115
«Есть русская интеллигенция...»	116
Война	119
Смерть Шукшина	120
Хобби света	121
«Можно и не быть поэтом...»	123
Школьник	124
Книжный бум	126
Сага	128
«Почему два великих поэта...»	131
«Я год не виделся с тобою...»	132
Мать	133
Безотчетное	135
Из поэмы «Андрей Полисадов»	138

Свет друга	140
«Кому на Руси жить плохо»	142
Синий журнал	144
Яблокопад	146
Сон	152
Ипатьевская баллада	154
«таша говорю я на...»	156
Цыгане социализма	157
Юз	160
Дефицит	161
А. Мень	163
Распяtie	165
Книги Андрея Вознесенского	169
Литература о творчестве А. Вознесенского	170

Вознесенский А. А.

В 64 Стихотворения / Сост. И. Винокурова; Авт. вступ. ст. К. Кедров; Грав. Т. Толстой; Оформ. серии Е. Ененко.— М. : Мол. гвардия, 1991—174 [2] с. (XX век: поэт и время).

ISBN 5-235-01479-0

Поэт Андрей Вознесенский не нуждается в представлении, ибо читатели хорошо знакомы с творчеством этого мастера поэтического слова. Нестандартное мышление, использование парадоксов, ярких, неожиданных метафор и сравнений, умение объемно видеть и изображать мир вызывают постоянный читательский интерес к творчеству этого поэта. В новую книгу вошли лучшие стихотворения из книг А. Вознесенского.

В 4702010202—137 165—91
078(02)—91

ББК 84Р7

ИБ № 7108
Вознесенский Андрей Андреевич

Стихотворения

Заведующий редакцией
Г. Зайцев

Редактор
Т. Чалова

Художественный редактор
Т. Погудина
Технический редактор
Е. Михалева

Корректоры
Н. Овсянникова,
Н. Самойлова

Сдано в набор 06.09.90. Подписано в печать 07.05.91.
Формат 60×90^{1/32}. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,5. Усл.
кр.-отт. 11,25. Учетно-изд. л. 4,9. Тираж 200 000 экз. (1-й
завод 100 000 экз.). Цена 2 руб. Заказ 1249.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изда-
тельско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва,
Сущевская, 21.

ISBN 5-235-01479-0

2 руб.

БИБЛИОТЕКА



ВЕК:
ПОЭТ И ВРЕМЯ

